

ПУШКИН И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Проблема, вынесенная в заголовок статьи, в пушкиноведении никогда не ставилась в сколько-нибудь полном виде. Исследования по этой теме почти исключительно касались лишь восприятия Пушкиным «Слова о полку Игореве». Между тем выяснение вопроса о соотношении творчества родоначальника новой русской литературы с традициями древнерусской словесной культуры представляет, как вполне очевидно, задачу первостепенной важности, выходящую за рамки собственно пушкиноведения, намечающую магистральные пути развития всей русской литературы в целом.

Почему же данная проблема до сих пор оставалась в тени? По-видимому, одна из основных причин этого заключается в недостатке материала и в его неопределенности. В пушкинское время многие важнейшие памятники древнерусской литературы оказались забытыми, да и собственно древнерусская литература в эстетическом сознании еще недостаточно отчетливо дифференцировалась с фольклором, лубочной литературой, историческими и юридическими памятниками, с различными явлениями быта (в частности, с церковной обрядностью).

Определенные споры в восприятии древнерусской культуры накладывала и просветительская идеология. Здесь нужно иметь в виду и характерную для просветительства недооценку средневековья, а главное, то обстоятельство, что для передовой просветительской мысли в России начала XIX века были наиболее актуальными факты усвоения русской культурой западноевропейских традиций, прогрессивного размежевания «старой» и «новой» культур, с особой силой подчеркнутого реформами Петра I.

1

В 1822 году в историческом вступлении к своим автобиографическим запискам Пушкин скажет:

«По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало по малу исчезали. Народ упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения...»¹ Широкий историко-социологический масштаб вступления не позволяет здесь писателю специально останавливаться на литературном процессе, но этот процесс он, несомненно, омысливает в русле движения всей культуры. Чрезвычайно важно отметить здесь и принципиальное пушкинское суждение относительно народного (противопоставленного современному, утверждавшемуся на европейских началах) просвещения:

¹ Пушкин. Полн. собр. соч. [Л.] 1949, т. 11, с. 14. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома римской цифрой.

«Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному... В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических... Мы обязаны монахам нашей Историей, следственно и просвещением. Екатерина знала все это, и имела свои виды» (XI, 16—17).

Тезис этот будет более подробно развит в 1825 году в пушкинском отклике на предисловие французского критика Лемонте к переводу басен Крылова: «Как материал словесности, язык славяно-русской имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайной счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Г. Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке... Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сегования» (XI, 31—32).

Забегая вперед, отметим здесь же одну любопытную выписку Пушкина, сделанную в 1836 году из «Изборника Святослава», которая показывает, насколько отчетливо понимал Пушкин постепенно преодолеваемую трудность выработки (под влиянием древнегреческих «гибкости и правильности») древнерусского литературного языка. Приведя по «Изборнику» перечень тропов и фигур (общим числом 25: «инословие», «превод» (метафора), «непотребие», «приятие» и пр.) и данное здесь определение первого из них, Пушкин замечает: «Далее следуют подобные сему определения и прочих вышеисчисленных наименований, но не довольно понятные для читателя, может быть, и потому, что не довольно понимаемы были предметы составителем или переводчиком, издателями русской энциклопедии XI века» (XII, 44). С другой стороны, следует правильно оценить часто цитируемое пушкинское замечание, высказанное им в 1830 году: «Разговорный язык простого народа (не читающего иностр. <анных> книг и, слава богу, не выражающ<его>, как мы, своих мыслей на фр. <ангузском> языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал италиянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирам. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (XI, 148—149). Случайно ли здесь упоминаются торговки просвирами, отчасти приобретенные к среде духовенства простолюдинки? Думается, что не случайно: это своеобразная иллюстрация процитированного выше пушкинского тезиса: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».

Точность пушкинских определений необходимо соблюдать и в данной, подчеркнутой самим поэтом сентенции: современный ему народный язык (чистый и правильный), давно уже органически усвоивший огромный пласт древней культуры, он считает лишь стихией, требовавшей от писателя нового времени сознательных и немалых усилий для выражения новых идей.

В этом, конечно же полемически заостренном, пушкинском выска-

звании открывается другая сторона вопроса, наиболее для Пушкина в 1820-е годы актуальная, связанная с осознанной необходимостью, оставаясь русским писателем, «в просвещении стать с веком наравне».

Но идеи европейского просвещения проверялись в творчестве Пушкина нравственным опытом народа, в художественной форме запечатлевшимся в фольклоре прежде всего, как это осознавалось Пушкиным в ту пору. Показательно, однако, что то же нравственное начало, а не только приметы национально-самобытного исторического колорита Пушкин ищет в летописях, работая над трагедией «Борис Годунов». Именно потому важнейшую роль в идейной концепции пьесы занимает на первый взгляд эпизодический персонаж — летописец Пимен. «Характер Пимена, — замечал Пушкин, — не есть мое изобретение. В нем собраны черты, пленившие меня в наших старых летописях...» (XI, 68).

Первый пушкинский план статьи о русской литературе относится к 1829 году:

«Летописи, сказки, песни, пословицы.

Послания царские. Песнь о полку. Побойще Мамаево.

Царствование Петра. Царств. <ование> *Елисаветы*, Екатерины — Александра. Влияние французской поэзии» (XII, 208).

О том, что мысль Пушкина в то время не была прикована к древнему периоду русской литературы, свидетельствует и черновой набросок статьи 1830 года:

«Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездной поэм, романсов, проческих и любовных, простодушных и сатирических, коими наводнены европейские литерат.<уры> средних веков. Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеванием мавров... Но, к сожалению — старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник: *Песнь о Полку Игореве*. Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной» (XI, 184).

В статье 1834 года, также не законченной, но имеющей характерное название «О ничтожестве литературы русской», представление об уникальности «Слова» для древнего периода русской словесности не изменилось: «Европа наводнена была невероятным множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч.; но старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют почти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и *Слово о Полку Игореве* возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности» (XI, 268).

В черновых вариантах этой статьи сохранилось объяснение причин «ничтожества русской литературы»:

«Петр первый был нетерпелив. Став главою *новых идей*, он, м.<ожет> б.<ыть>, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общем презрении ко всему старому народному включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных песнях, в сказках (нелепых) и в летописях. Рождалась новая словесность, отголосок новообразованного общества» (XI, 501).

Впрочем, более подробно обозрение начального периода русской литературы намечено Пушкиным в том же году в виде плана:

«Язык. Влияние греческ.<ое>

Памятники его

Литература собств.<енно>

Причины 1) ее бедности

2) ее отчуждения от Европы

3) уничтожения или ничтожности влияния скандинавского

Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою.

Песнь о Полку Игореве

Песнь о побойце Мамаевом.

Сказки, мистерии

Песни» (XII, 208).

Отчасти пункты этого плана проявляются приведенными выше пушкинскими высказываниями более ранних годов. Отметим еще пушкинские соображения из его отклика на «Историю русского народа» Н. А. Полевого, объясняющие во многом тезис о «бедности русской литературы»:

«Гизо объяснил одно из событий христианской истории: *европейское просвещение*. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие, и отклоняя все отдаленное, все постороннее, *случайное*, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец рассветающие века. Вы поняли великое достоинство фр. <анцузского> историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» (XI, 127).

«Никогда ничего не имела» — в данном случае эта фраза имеет в виду древний период русской истории, которому были посвящены обозреваемые тома «Истории» Полевого. Что же касается пушкинской «особой формулы» русской истории, то она была отчетливо намечена в знаменитом письме к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года, в отклике на пессимистическую оценку русской истории, изложенную в «Философическом письме»:

«Нет сомнения что Схизма <разделение церквей> отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергическое развитие католической Европы было избавлено от всяких помех... У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева... Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!.. и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?» (XVI, 392—393; подлинник по-французски).

Таковы основные наброски пушкинской концепции древнерусской литературы, ее своеобразия и относительной бедности. Концепция эта

никогда не была изложена им в полном виде, дошла до нас в виде фрагментарных и полемически заостренных суждений, а также едва намеченных (крайне общих) планов. Было бы заманчивым, как это может показаться, свести эти суждения воедино, представить по возможности в целом гипотетически восстановленный конспект пушкинской концепции. Но это было бы, на наш взгляд, некорректной манипуляцией. Прежде всего, незаконченность пушкинской работы — это знак собственной неудовлетворенности Пушкина ею, а стало быть, невыработанности окончательных, продуманных решений. И главное, теоретические пушкинские выкладки ни в коей мере не отражали богатейшей творческой практики Пушкина, которая впитывала в себя влияние древнерусской литературы гораздо в более разнообразных формах и большем объеме, нежели это отражено в его историко-литературных размышлениях.

И все же простую, в основном эмпирическую сводку пушкинских суждений на этот счет мы не считаем бесполезной: она проясняет многие факты его творчества.

2

Остановимся на одном из таких фактов. Постоянно возрождавшимся в пушкинском творчестве замыслом (по количеству разновременных попыток не сравнимым ни с одним другим) стал замысел «богатырской поэмы» на темы сказки о Бове-королевиче, известной ему еще с самого раннего детства, как это отражено в лицейском стихотворении (отрывке из поэмы?) «Сон» (1816):

Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

(I, 189)

Впервые к этому сюжету Пушкин обратился еще в 1814 году, и тогда данный замысел был смелым и перспективным, как одна из первых попыток юного поэта перейти от малых стихотворных форм к жанру поэмы, продолжив традиции Радищева («Бова»), с его ориентацией на вольтеровскую «Орлеанскую девственницу», с одной стороны, и Карамзина — с другой («Илья Муромец»). Тем самым Пушкин отвечал назревшей в русской литературе начала XIX века задаче создания народно-поэтической эпопеи. Незавершенность этого замысла в ту пору, возможно, была связана с уступкой его К. Н. Батюшкову, как об этом можно судить по письму Пушкина П. А. Вяземскому от 27 марта 1816 года: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого, год тому назад, завоевал он Бову Королевича» (XIII, 3). В конце жизни Пушкин в общем невысоко оценивал поэму Радищева, во многом послужившую толчком к его первой обработке сюжета о Бове: «Первая песнь *Бовы* имеет также достоинство. Характер Бовы обрисован оригинально, и разговор его с Каргою забавен. Жаль, что в *Бове*, как и в *Алеше Поповиче*, другой его поэме... нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал» (XII, 35).

Это замечание в некоторой степени объясняет новое обращение Пушкина к сюжету о Бове в 1822 году, когда в его творчестве начинает отчетливо проследиваться сознательное стремление к постижению народно-поэтической образности, существенно обогатившей его поэзию. Однако вскоре в русской печати появились сведения об иномном про-

исхождении сюжета о Бове. И. Снегирев в 1822 году заметит, что «многие из древних сказок, как, например, Еруслан, Бова, Петр Золотые Ключи, взяты с итальянского или арабского»,² — спустя два года повторит: «Еруслан Лазаревич, Бова-королевич, Петр Золотые ключи — романы нашей черни — гости заезжие, у нас обрусевшие».³ Позднее Пушкин узнает о конкретном итальянском источнике сказки о Бове — о рыцарской поэме, изданной в Венеции в 1489 году, «Буово из Антоны», о которой он упоминает в письме к П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 года (см. XIII, 184), а в конце июня того же года, в рабочей тетради ПД № 832 делает конспект этой «самой древней из романтических поэм» по «Истории итальянской литературы» П. Л. Женгене и вслед за тем набрасывает план нового своего замысла о Бове и делает набросок семи начальных строк поэмы.⁴

Внимание Пушкина к сказке о Бове проявилось в различных его произведениях. В черновых набросках второй главы «Евгения Онегина» он вспоминает няню Ольги, Фадеевну, которая «Помилуй мя читать учила, Гуляла с нею, среди ночей Бову рассказывала <ей>» (VI, 288); в сне Татьяны воспользуется лексикой народной сказки: «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская молвь и конский топ!» (VI, 104); а позже, в возражениях на критику М. А. Дмитриева, пояснит эту строку: «Выражение сказочное (Бова Королевич)», заметив попутно: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели — чтоб видеть свойства русского языка» (XI, 72). В «Опровержениях на критики» (1830) и, публикуя роман отдельным изданием 1833 года, в специальном примечании Пушкин вновь и вновь повторит: «В журналах осуждали слова *хлоп, молвь и топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. „Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ“» (VI, 193). В романе о царском арапе (1829) мы находим любопытное упоминание сказки о Бове, открывающее некоторое подобие злоключений героя с судьбой знаменитого предка поэта, А. П. Ганнибала:

«Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, — он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатым выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — прервала старушка, — слышали мы сказку про Бову Королевича да Ер.суслана» Лаз.аревича». Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание» (VIII, 25).

К концу 1820-х годов, по-видимому, относится разговор о «Бове» Пушкина с А. С. Хомяковым. Последний в 1857 году вспоминал: «Кстати о филологии: скажу слово о происхождении одной из сказок, ходящих в народной словесности. Когда Пушкин первый (если не ошибаюсь) сказал, что „Бова-Королевич“ переведен с итальянского языка (что совершенно справедливо) и есть сказка итальянская, я встретился с ним и доказал ему, что хотя сказка перешла к нам из Италии, но в Италию перешла она из Англии, своей родины. Он хотел это напечатать, но, кажется, забыл; с тех пор не знаю, сказал ли кто-нибудь то же самое».⁵

Последнее известное нам обращение Пушкина к сюжету о Бове относится к 1834 году, когда он на листке с планом «Капитанской дочки»

² Снегирев И. Русская народная галерея, или лубочные картинки. — Отечественные записки, 1822, № 30, с. 92—93.

³ Снегирев И. О простонародных изображениях. — Труды общества любителей российской словесности при Московском университете, 1824, ч. 4, с. 141.

⁴ Обоснование такой датировки см. в нашей статье в кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986, т. 12, с. 241.

⁵ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1904, т. 8, с. 40 (второй пагинации). За указание этого факта благодарю В. Э. Вацуро.

набрасывает и план сказки о Бове, перечень действующих лиц и две строки:

Красным девицам в заба(ву)
Добрым молодцам на славу
(XVII, 32)

Репутация сказки о Бове-королевиче как недостойного сюжета для высокой литературы была настолько сильной к концу XVIII века, что обращение Радищева к этому сюжету было своеобразным вызовом.⁶ Впрочем, столь же вызывающе в «Фелице» о Бове упоминал Г. Р. Державин:

Полкана и Бову читаю,
За библией, зевая, сплю.⁷

Едва ли не эти зазорные строки вспомнит и переведет их в высокий план Пушкин, когда в стихотворном обращении к Гнедичу (1832), характеризую «прямого поэта», скажет:

То Рим его зовет, то гордый Илион
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Во след Бовы иль Еруслана.

(III, 286)

И все же настойчивое обращение к сюжету о Бове-королевиче, на наш взгляд, в творчестве Пушкина имеет более принципиальный смысл, нежели вызов «изнеженным вкусам».

Пушкин рассматривал средневековую русскую культуру под знаком «отчуждения от Европы» и первые приметы европеизма русской литературы видел в двух жанрах: «Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою». Что касается пословиц, то следы прямого заимствования в них Пушкин отмечал неоднократно — ср., например, его записи: «„Бодливой корове бог рог не дает“ — пословица латинская»; «„Ворон ворону глаза не выклюнет“ — шотландская пословица, приведенная В. Скоттом в Woodstock».⁸ Но почему он в этой связи упоминал и сказки?

Ответ на это мы находим в его выписке из Женгене, из которой следовало, что любимая им с детства сказка о Бове-королевиче, широко распространенная и в древней рукописной, и в лубочной, и в устной традиции, восходила, оказывается, к «самой древней из романтических поэм» «Буово д'Антон».

Любопытно, что историческое чутье Пушкина в данном отношении проявляется особенно остро. В набросках «Истории Петра» он замечал: «Просвещение развивается со времен Бориса (нравы дикие, свирепые); правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о науках. Духовенство. Его критический дух» (X, 294). Пушкинский же план истории древнерусской литературы отчасти корректировал данное слишком прямолинейное утверждение. В самом деле, современное обследование наиболее ранних записей сказки о Бове-королевиче в древнерусской книжности (о чем Пушкин знать не мог, но, как видим, догадывался) удостоверяет, что данный сюжет пришел на Русь в конце XVI—в начале XVII века⁹ и был действительно одним из первых в ряду подобных

⁶ См. об этом в кн.: *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина: (1813—1826). М.: Л., 1950, с. 86.

⁷ *Державин Г. Р.* Стихотворения. Л., 1957, с. 100.

⁸ Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935, с. 350.

⁹ См.: *Кузьмина В. Д.* Рыцарский роман на Руси. М., 1964, с. 17—24.

(о Еруслане Лазаревиче, Петре Златые Ключи, Василии Златовласом и т. п.).

Именно это «низовое» свидетельство «сближения с Европой» привлекло, на наш взгляд, пристальное внимание Пушкина к сказке о Бове-королевиче в зрелый период его творчества и породило новые попытки литературно обработать данный сюжет. Необыкновенно примечательным было в нем и свидетельство секуляризации древнерусской литературы, до того развивавшейся только в среде просвещенного духовенства, и органическое усвоение народной культурой авантюрно-рыцарской поэмы — настолько, что язык ее в русской традиции стал образцовым.

С точки зрения личной творческой биографии для Пушкина знакомство с историей данного сюжета тоже было знаменательным. Оказывается, уже в лицейскую пору (еще не предполагая сложной миграции сюжета) он интуитивно потянулся к нему, а позже заслужил репутацию первого русского поэта (победителя Жуковского), продолжив традиции авантюрно-рыцарского повествования в поэме «Руслан и Людмила» (во многом используя здесь мотивы другой народной книги — об Еруслане Лазаревиче). Не случайно в 1822 году, уже найдя столь продуктивный для него впоследствии жанр своей «южной поэмы» в «Кавказском пленнике», Пушкин попытался, преодолевая байроновское влияние, снова обратиться к принципам авантюрно-рыцарского повествования в замысле поэмы о Мстиславе. Нетрудно заметить, что, строя сюжет по той же схеме, Пушкин выдвигает в главные герои (в отличие от «Руслана и Людмилы») известного по летописям и упоминанию в «Слове о полку Игореве» («храбрый Мстислав, иже зареза Редеду пред полку Касожьскими») легендарного тмутараканского князя, давая ему в соратники (ср. с Полканом) былинного Илью Муромца и рисуя жизнь (пользуясь его позднейшим определением) «полную кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов». Поэма о Мстиславе, подробно (с необычной для Пушкина тщательностью) разработанная в плане, тем не менее не была даже начата — может быть, потому что в это время он познакомился с замечанием И. Снегирева в «Отечественных записках» об иноземном происхождении сказки о Бове-королевиче, что, вероятно, не позволило в ту пору поэту «реконструировать» рыцарскую поэму о реально-историческом русском герое по образцу «Бовы».

Впоследствии же, как мы видели, сюжет о Бове стал интересовать Пушкина не в качестве образца, а сам по себе как принципиально важный в концепции Пушкина памятник старой русской книжности. Законченного произведения о Бове из-под пера Пушкина все же не появилось, все дело ограничилось только планами и первыми стихотворными набросками. Однако нельзя не увидеть, что жанр «сказки» в творчестве Пушкина тяготеет именно к авантюрно-рыцарской сюжетике, а не к сказке собственно в точном фольклорном значении. Оттуда идут привычные для Пушкина сказочные имена: Салтан, Гвидон, Елисей, Дадон. Становится понятным с такой точки зрения и свободное обращение Пушкина в своих «сказках» — при их образцовом народном языке и обильном использовании мотивов, почерпнутых именно в русском фольклоре, — к зарубежным сюжетам (из Гримма, из В. Ирвинга).

Определяя такую литературную генеалогию пушкинских «сказок», мы, разумеется, отнюдь не приуменьшаем их литературного значения. Ссылаемся в данном случае на мнение В. Я. Проппа: «Тесно связана со сказкой, но все же совершенно иной жанр представляет собой народная книга... Народная книга была и у нас, хотя термин этот для русских материалов не прижился. Со времен Пыпина установился термин „повесть“. Выросшая на почве фольклора народная книга перерастает в буржуазную повесть и дает начало роману. Источники ее чрезвычайно

разнообразны, как разнообразны и сами народные книги. Они часто представляют собой продукт международных фольклорных связей и влияний. Так, типичными народными книгами являются „Еруслан Лазаревич“, „Бова Королевич“, „Мелюзина“, „Петр Золотые ключи“ и др. Они сказочного происхождения, восточного и западного... Народные книги выработали специфический для них язык, обладающий прекрасными литературными достоинствами, особый стиль, особые литературные приемы... Народные книги были у нас чрезвычайно популярны. отождествление народной книги со сказкой — методологическая ошибка. Но такой же методологической ошибкой будет и изучение народной книги вне сказки. Это смежные, родственные и перекрещивающиеся жанры, обладающие, однако, каждый своей внутренней спецификой, исторической судьбой и формой обращения».¹⁰

Вот здесь мы и подошли к существу дела. Правильное установление литературной традиции по отношению к «сказкам» Пушкина важно в методологическом отношении. Иначе возникает недоумение, характерное, например, для В. Г. Белинского — ср.: «Сказки Пушкина: „О царе Салтане“, „О мертвой царевне и о семи богатырях“, „О золотом петушке“, „О купце Кузьме Остолопе и о работнике его Балде“, были плодом довольно ложного стремления к народности. Народные сказки хороши и интересны так, как создала их фантазия народа, без перемен, украшений и переделок».¹¹ Едва ли не хуже, чем эта, так сказать, добросовестная ошибочная оценка, иные методологически неверные попытки судить о поэтике сказок Пушкина впрямую по фольклорным образцам, без учета посредствующей роли здесь древнерусской книжности и народной книги, с сознательной ориентацией на которые и писал Пушкин свои «сказки».

3

Внимательное изучение пушкинского творчества показывает, что творческое использование им традиций древнерусской литературы было гораздо более богатым и разнообразным, нежели это можно было ожидать, обращаясь к его историко-литературным штудиям, в которых «бедность» древней русской словесности декларировалась постоянно. Выясняется, что культура Древней Руси в пушкинскую эпоху была достаточно мощным фактором, оказывавшим свое влияние и на творчество родоначальника новой русской литературы.

Следует только с самого начала подчеркнуть, что, большой и самобытный художник, Пушкин всегда обращался к опыту иных художественных систем творчески, решая насущные для себя идейно-эстетические задачи. Этот тезис мы ниже попытаемся подтвердить на примере обращения Пушкина к агиографическим жанрам.

В третьем томе пушкинского журнала «Современник» была напечатана рецензия на книгу Д. А. Эристова и М. Л. Яковлева «Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых» (СПб., 1836). Уместен вопрос, почему из нескольких десятков новых книг, список которых помещен в третьем томе, Пушкин счел необходимым отрецензировать только две, в том числе и «Словарь о святых». Думается, что актуальный публицистический смысл данного отклика Пушкина становится ясным в сопоставлении со второй рецензией, помещенной в том же томе: она была посвящена книге Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» и главным здесь было воспоминание об итальянском карбо-

¹⁰ *Пропт В. Я.* Русская сказка. Л., 1984, с. 53—54.

¹¹ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 576.

нарии: «Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах, и, получив свободу, издал свои записки» (XII, 99). Третий том «Современника» готовился к изданию летом 1836 года, и Пушкин намеревался в нем хотя бы намеком (прямые упоминания были невозможны) отметить десятилетие со дня суда и казни декабристов. Тема гонимых и осужденных была намечена в подготовленных для этого журнального тома статье «Александр Радищев» и так называемом каменноостровском лирическом цикле. Убедившись в невозможности опубликовать их, Пушкин в последнем разделе выпуска («Новые книги») решил напомнить читателям о страдальцах. Так появилась, как нам представляется, рецензия на «Словарь о святых».

Важно, однако, и другое. Пушкинская рецензия обнаруживает его достаточно глубокие знания в русской агиографии. Показательная деталь: в рецензии упоминается «Опыт исторического словаря о всех в истинной православной вере святою непорочною жизнью прославившихся святых мужах» как напечатанный Новиковым. Однако в титульных данных этой книги отсутствует указание на издателя. Пушкин же твердо знает его имя. Обнаруживается и то, что «Словарем» Эристова и Яковлева Пушкин пользовался еще в рукописи. В том же третьем томе «Современника» помещена антикритика на статью Броневского об «Истории Пугачевского бунта», где Пушкин, в частности, отмечает: «Положившись на показания рукописного *Исторического словаря*, составленного учеными и трудолюбивыми издателями *Словаря о святых и угодниках*, я поверил, что некрасовцы перешли с Кубани на Дунай во время походов графа Миниха» (IX, 381).

И, конечно, интерес к «Словарю» Эристова и Яковлева для Пушкина не случаен. На протяжении всей его жизни «Четьи-Минеи» и «Пролог» были его постоянным чтением. Из воспоминаний И. И. Пущина известно, например, что в январе 1825 года на рабочем столе Пушкина в Михайловском лежали «Четьи-Минеи». 17 августа 1825 года Пушкин писал из Михайловского Жуковскому: «Одна просьба, моя прелесть, нельзя ли мне доставить или жизнь Железного Колпака, или житие какого-нибудь юродивого. Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьех Минеях — а мне очень нужно» (XIII, 212). 20 ноября 1829 года Сомов посылает Пушкину «Четьи-Минеи» при послании, стилизованном под церковнославянский язык («... Паче же всех да воспоеши красноглаголивую песнь о житии преподобного Иоанна Новгородского, иже на хребте бесове, аки на седалище констем восседа и во Святый град Иерусалим потече спешно, утреневати утреннюю глубоку в день пасхи господни. Не точию же о том, но и о ситем угодници печерстем Иеремии (Сомов здесь ошибся, надо: Матфее, — С. Ф.). Прозорливым, иже зре беса пред утренней на свинии гонзаюци и на спящих во храме божем молельщиков ветвию неким от былий тмы кромешная метающа...» — XIV, 52). 14 апреля 1831 года Пушкин замечает в письме к Плетневу: «Если все еще его (т. е. Жуковского, — С. Ф.) несет вдохновением, то присоветуй ему читать Четь-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах; прелесть простоты и вымысла» (XIV, 163). 14 апреля 1836 года Пушкин обращается с просьбой к Языкову: «Пришлите мне ради бога стих об Алексее бож. <и.е.м> человеке, и еще какуюнибудь Легенду. — Нужно» (XVI, 105).

В бумагах Пушкина сохранилось несколько выписок (важно подчеркнуть, разных лет) из «Пролога» и «Четий-Минеи» — из житий Иоанна Кушника, Ора черноризца, Никиты Затворника Печерского, Саввы преподобного Звенигородского, святой Ксении. Сделаны эти выписки, судя по бумаге, в 1830-е годы и связаны отчасти с лингвистическими разысканиями поэта: он выписывает из житий слова «трапеза», «толк — толмач», «рубо — убрус», «куколь», «с путем (с жалованием)»

и т. п. Любопытно, что некоторые из этих слов тотчас откликаются в пушкинских произведениях — так, в поэме «Анджело» (1833) читаем: «Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком Под черным куколом с распятием в руках Согбенный старостью беседовал монах» (V, 119).

Но дело не исчерпывалось словарными изысканиями. Так, из «Жития Никиты, затворника Печерского» Пушкин выписывает следующую цитату: «Приидоша к прельщенному преподобные отцы Никон игумен и Иоанн, иже по нем бысть игумен, Пимен постник, Исаия, иже бысть епископ Ростовский, Матфей прозорливый, Исаия затворник печерский, Агапит врач, Григорий чудотворец, Никола, иже бысть епископ Тмутораканский, Нестор летописец, Григорий творец канонов, Феоктист, иже бысть епископ Черниговский, Оносифор прозорливый...»¹² Не вызывает сомнения, что в данном случае Пушкин сохранил для памяти имена знаменитых монахов печерских, в чьих деяниях он восхищался «прелестью простоты и вымысла».

Интересна также следующая пушкинская выписка из «Четий-Миней»: «Жития и похвалы святых подобаются светлостью звездам: яко же бо звезды положением на небеси утверждены суть, всю же поднебесную просвещают, тыя же и от Индианов зрятся, не скрываются от Скифов, землю озаряют и морю светят и плавающих карабли управляют: их же имен аще и невели множества ради, обаче светлей доброте их чудимся. Сиче и светлость святых аще и затворени суть мощи их во гробех, но силы их в поднебесней земными пределы не суть определены. Чудимся тех житию и удивляемся славе, ею же бог угодившия ему прославляет».¹³

Столь постоянный интерес к агиографической литературе не мог не получить отражения в пушкинском творчестве. Первая же поэма Пушкина «Монах», которую он начал писать в 1831 году, основана на популярном житии Иоанна Новгородского. Поэма обрывается на третьей песне, после того, как бес Молок, смущавший героя, окроплен святой водой, побежден и предлагает Панкратию слетать в святой град Иерусалим. Можно догадываться, что Пушкин намеревался в итоге описать победу беса над монахом, что предвещается в первых же строках поэмы:

Хочу воспеть, как дух нечистый Ада
Оседлан был брадатым стариком;
Как овладел он черным клубуком,
Как он втолкнул Монаха грешных в стадо.

(I, 9)

Иной, вполне серьезный тон в дошедшем до нас стихотворном отрывке Пушкина начала 1820-х годов, где имеется в виду знакомый Пушкину с детства Савво-Сторожевский монастырь (под Звенигородом):¹⁴

На тихих берегах Москвы
Церквей, веччаные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленные рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи.

(II, 261)

В михайловские годы Пушкин обращался к житийной литературе в связи с работой над трагедией «Борис Годунов», одним из основных,

¹² Сочинения и письма А. С. Пушкина / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1904, т. 6, с. 437.

¹³ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1605.

¹⁴ См.: Листов В. С. Вокруг пушкинского отрывка «На тихих берегах Москвы...» — В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1980, с. 164—174.

хотя и внесценических героев которой предстает царевич Димитрий. О значении этого образа в художественной системе трагедии очень точно сказал И. Киреевский: «Тень умерщвленного Димитрия царствует в трагедии с начала до конца, управляет ходом всех событий, служит связью всем лицам и сценам, расставляет в одну перспективу все отдельные группы и различным краскам дает один общий тон, один кровавый оттенок. Доказывать это значило бы переписать всю трагедию...» («Европеец», 1832, ч. 1, с. 114). Воссоздавая образ Димитрия, Пушкин во многом опирался на агиографию. Так, в сцену «Царская дума» в пересказе патриарха включено описание чуда, неперемного элемента житийной литературы.

Особый интерес Пушкина при его работе над трагедией вызвали и сведения, почерпнутые в «Истории государства Российского» Карамзина, о юродивых Василии Блаженном, Николе Псковском, Иоанне Юродивом, прозванном Большим Колпаком и Водоносцем. Последний из них выведен в одной из самых пронзительных сцен трагедии, где он дает отповедь Борису Годуну: «Нельзя молиться за царя-ирода, богородица не велит». О значимости этого образа свидетельствует полусутоливое замечание Пушкина в письме к Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе написана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (XIII, 240).

Выше уже упоминалось, что интерес к житийной литературе у Пушкина усилился в 1830-е годы, в то время, когда он все настойчивее обращается к прозе. Нам представляется, что стиль простодушного агиографического повествования своеобразно отразился в предисловии к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», где описывается жизнь Белкина. Здесь угадывается ряд характерных деталей житийной топики: рождение героя «от честных и благородных родителей», обучение у «деревенского дьячка», черты добродушия и милосердия, житейской непрактичности. Ср., например: «Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случилось мне видеть его на́веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая» (VIII, 61).

О том, что Пушкин в этом рассказе в действительности опирался на житийный стиль, свидетельствует, как нам кажется, следующее. Как известно, предисловие к «Повестям Белкина» далось Пушкину не сразу — в течение всего лета 1831 года, когда книга проходила цензуру, Плетнев, следивший за изданием, тревожно запрашивал Пушкина, когда же он пришлет предисловие. Вероятно, сперва Пушкин предполагал использовать в качестве такового начало «Истории села Горюхина», где излагалась автобиография Белкина. Но «летописный» стиль этого произведения мало соответствовал общему характеру повестей. В конечном счете Пушкин излагает биографию героя со слов иного лица, ненародовского помещика. Естественным было в этом случае, отказавшись от «летописного» стиля, обратиться к «житийному». Важно подчеркнуть, что в данном случае мы имеем дело вовсе не с трагедийностью, не с пародией, — скорее со стилизацией, чуть ироничной однако. Влияние летописного стиля на становление повествовательной манеры Пушкина-прозаика уже отмечалось в литературе (академиком В. В. Виноградовым, А. П. Чудаковым), — очевидно, столь же важны были для него и агиографические жанры (ср., например, его замечание о стиле «Киево-Печерского патерика»: «прелесть простоты и вымысла»).

Агиографическая литература приобретает для Пушкина особое значение в последние годы. В это время в его лирике, по преимуществу медитативной, самоуглубленной, исповедальной, складывается образ

лирического героя — странника, пустынноика (см., например, стихотворения «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит», «Странник», «Вновь я посетил», «Родрик», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынноики и жены непорочны», «Когда за городом, задумчив, я брожу»). Именно в это время, как отмечалось выше, он интересуется легендами об Алексее человеке божьем. Поэтому и рецензия на «Словарь о святых» в пушкинском «Современнике» была — при всем ее публицистическом назначении в общем контексте третьего тома журнала — еще и закономерным свидетельством неиссякаемого внимания Пушкина к агиографической литературе.

Данные предварительные наблюдения позволяют, я думаю, сделать важные теоретические выводы. До сих пор Пушкин как родоначальник новой русской литературы представляется выразителем послепетровской культуры, что, как это было показано выше, было отражено и в его собственных набросках о «бедности» древнерусской словесности. Но Пушкин, конечно, знал гораздо больше памятников древнерусской письменности, нежели это отмечено в его планах истории русской литературы 1829 и 1834 годов, хотя он не всегда осознавал их в качестве художественных произведений.

Так он никогда не считал «изящной словесностью» агиографические жанры, совершенно не упоминал их. Это не должно нас удивлять. Даже современный исследователь русской агиографии констатирует: «Жития как церковно-служебные произведения достаточно широко изучались историками церкви; немало посвящено работ житиям как историческим источникам. Но жития прежде всего — произведения древнерусской литературы, а как памятники литературы они изучены менее всего».¹⁵ Тем не менее, не осознавая теоретически, Пушкин практически в своем творчестве, как показывают изложенные выше наблюдения, постоянно обращался к традициям древнерусской литературы.

4

Выше показывалось, что весь период древнерусской литературы Пушкин в теоретических своих работах воспринимал как более или менее однородный, сохранявший свои традиционные формы неизменными на протяжении нескольких веков. Это и заставляло его подчеркивать «бедность» древнерусской словесности.

Однако, как нам представляется, обратившись в последние годы своей жизни к исследованию выдающегося памятника русской культуры «Слова о полку Игореве», Пушкин впервые ощутил, какие сложные процессы происходили в недрах этой культуры, как с самых первых веков своего существования русская литература была неоднородна и немыслима без своеобразной литературной борьбы, в которой выражался поступательный ход этой литературы, отмеченной в конце XII века высочайшим шедевром.

Несколько — по разным поводам — упоминаний Пушкиным «Слова о полку Игореве», ряд свидетельств современников об интересе поэта к этому памятнику, маргиналии и глоссы Пушкина на переводах «Слова» Жуковского и Вельтмана, заметки и начало статьи о «Слове», обнаруженные в бумагах Пушкина, породили довольно большую литературу, пик которой падает на вторую половину 1930-х годов (Н. О. Лернер, М. А. Цявловский, Н. К. Козмин, Н. К. Гудзий, Я. И. Ясинский, позже — И. А. Новиков, Ф. Я. Прийма). Проблема изучалась как пуш-

¹⁵ Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв. Л., 1973, с. 7.

гинистами, так и специалистами по древнерусской литературе и ввиду малочисленности материалов оказалась вскоре исчерпанной. Это, казалось бы, свидетельствует о возможности лишь отдельных уточнений уже сделанных наблюдений и выводов, так как уповать на обнаружение каких-либо новых значительных материалов, свидетельствующих о восприятии Пушкиным выдающегося памятника древнерусской литературы, очевидно, не приходится.

Между тем, как это ни странно, само творчество Пушкина, тот контекст, в котором и следует рассматривать занятия Пушкина «Словом», почти не привлекался к изучению данной проблемы.

И это при том, что в критической литературе существует тенденция, на наш взгляд, неоправданного преувеличения якобы постоянного интереса Пушкина к «Слову о полку Игореве» на протяжении всего его творчества начиная с лицейских лет. Такой интерес обосновывается путем нехитрой презумпции: «Пушкин не мог не интересоваться „Словом“». Не находя прямых подтверждений этому тезису, приверженцы такого взгляда идут по пути выявления реминисценций из «Слова» в произведениях Пушкина.

На первый взгляд подобный метод поисков непреходящего влияния выдающегося памятника древнерусской письменности на творчество Пушкина (пусть даже и без четкого различия прямых и опосредованных заимствований из «Слова») служит углублению наших представлений о художественных исканиях поэта. На самом же деле он ведет к некой суммарной, усредненной и нечеткой оценке восприятия Пушкиным «Слова» без дифференциации пушкинских творческих исканий в разные периоды его деятельности. Несомненно, Пушкин с юности был знаком со «Словом», как несомненно и то, что общая волна воздействия древнего памятника на новую русскую литературу с момента его публикации в 1800 году коснулась и Пушкина. Однако в орбиту его эстетических размышлений это произведение попало не сразу. Первое упоминание Пушкиным «Слова» относится лишь к 1829 году, а проходные определения в набросках статей «Слова» как «уединенного памятника в пустыне нашей словесности» — к 1830 и 1834 годам.

В настоящее время выявлено около двух десятков пушкинских толкований отдельных слов и «темных мест» «Слова», почерпнутых им в разных источниках: в песнях, в летописях, в Библии, в словарях и пр. Все они, по-видимому, тяготеют к последним месяцам жизни Пушкина, когда он, по сути дела, и приступил вплотную к работе по комментированию «Слова».

Более развернутые заметки по разъяснению отдельных выражений памятника и начало статьи о «Слове» относятся уже к январю 1837 года. В те же дни Пушкин критически изучает переводы Вельмана (по изданию 1833 года) и Жуковского (по копии), в связи с началом работы над указанной статьей, о чем несомненно свидетельствует ряд характерных переключек между маргиналиями и глоссами на переводах, предварительными заметками и собственно текстом начатой статьи. Именно к этим последним месяцам относятся и свидетельства современников об интересе Пушкина к «Слову» (А. И. Тургенева, С. П. Шевырева, И. М. Снегирева, М. А. Коркунова, И. П. Сахарова).

Хронологическая локализация пушкинской систематической работы над «Словом» нам представляется чрезвычайно важной.

Если оценивать пушкинскую статью о «Слове» и материалы к ней как итог проходящего через всю сознательную жизнь поэта увлечения, то они — как это и было сказано Я. И. Ясинским — и впрямь могут показаться дилетантскими разысканиями. Другое дело — если это лишь начало серьезной работы Пушкина, оборванной его нелепой гибелью.

«В наше время, — замечал в 1836 году Пушкин в рецензии на «Словарь святых», — главный недостаток, отзывающийся во всех почти учебных произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые *ученые* принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною *взглядов*, приворочлением модных понятий к старым давно известным предметам и пр. Такие средства (которые, в некотором смысле можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых, и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих» (XII, 101).

Первейшей задачей в изучении «Слова», по мнению Пушкина, являлся достоверный перевод его на современный русский язык. По его убеждению, «первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые, все еще остается лучшим. Прочие толкователи наперерыв затмевали неясные выражения своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными». Общие же пушкинские представления о задачах перевода сформулированы в его статье, которая написана одновременно с заметками о «Слове», — «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“». Полезно процитировать некоторые положения этой статьи, для того чтобы представить себе цели, которые ставил перед собой Пушкин, приступая к детальному осмыслению «Слова о полку Игореве».

«От переводчиков стали требовать, — пишет Пушкин, — более верности, и менее щекотливости и усердия к публике — пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде. Даже мнение, утвержденное веками и принятое всеми, что переводчик должен стараться передавать дух, а не букву, нашло противников и искусные опровержения. Ныне (пример неслыханный!) первый из фр. <анцузских> писателей переводит Мильтона *слово в слово*, и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только слово был возможен! — Такое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела, должно было сильно изумить поборников *исправительных переводов* и вероятно будет иметь большое влияние на словесность. . . Но удачен ли новый перевод? . . . Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. . . Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к переложению слово в слово, то каким образом язык французский. . . выдержит таковой опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, всё вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительного, своеправного, и смелого даже до бессмыслия?» (XII, 137, 143—144).

Не вызывает сомнения, что все эти соображения имеют прямое отношение к собственным занятиям Пушкина переводом «Слова о полку Игореве». «Исправительный» перевод, уничтожающий «народную одежду» подлинника, и перевод подстрочный кажутся ему двумя крайностями, для него в равной степени неприемлемыми.

О направленности пушкинского перевода «Слова» против современных поэту толкователей памятника сохранилось очень ценное свидетельство А. И. Тургенева в письме к брату от 13 декабря 1836 года:

«Я зашел к Пушкину справиться о песне о полку Игореве, коей он приготовляет критическое издание. . . Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецера Нестора, и показать ошибки Шиш-

кова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дожидаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикой, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое прояснится, особенно начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий славянских и языка русского. . .»¹⁶

Действительно, в пояснениях А. С. Шишкова, при всех несомненных его заслугах в популяризации «Слова», многое было нелепым и попросту смешным (ср., например: «Как знаменателен здесь глагол „растекался“! Не видим ли мы выходящую из головы Бояна реку мыслей, растекающуюся по всему пространству мира?»); «„Див кличет верху дерева, велит послушати земли незнаеме“... Слова сии не могут быть взяты в настоящем их разуме; надлежит, чтоб под оными скрывалось какое-нибудь иносказание... вышесказанные слова должны заключать в себе следующую или подобную мысль: „правительство или верховная власть, пекущаяся о безопасности народной, видя приближение неприятеля, возвещала или слова разглашала, разносилась по всем вышеобъясненным странам, даже до Тмутараканской земли, клича или созывая обитающие в них народы, дабы они стекались, соединялись с половцами“»; «„О Бояне, соловью старого времени! абы ты сии полки ущекотал“.— Сиречь: естли бы ты воинов сих воспел, прославил. Глагол „щекотать“ кажется в старину значил „петь“ и „говорить много“, и особливо приличествовал соловью, как и ниже сего найдем выражение „щекот соловьиный успе“. Впрочем, сие знаменование и поныне в некоторых речах осталось, как например, мы о сороке говорим: „сорока щекочет“, то есть кричит, или о болтливой женщине: „какая щекотунья“»).¹⁷

Это сближение старых значений слов с современными, постоянное распространение попутными замечаниями энергичного языка «Слова» и были для Пушкина приметамы «исправительного перевода», нарушающего дух подлинника.

Важно и другое: юмористический эффект подобных толкований привлекал внимание Пушкина к особой стилистической интонации автора «Слова» в его стилизациях под песни Бояна, «соловья старого времени».

Однако точный, передающий и стиль и дух «Слова» перевод хотя и намечался Пушкиным первоочередной целью в его занятиях памятником, но эта цель отнюдь не исчерпывала его замысла. В исследовательской литературе не был до сих пор поставлен вопрос о жанре пушкинской работы о «Слове». Приведенное выше свидетельство А. И. Тургенева о предполагаемом «критическом издании сей песни, в роде Шлецера Нестора», казалось бы, полностью проясняет этот вопрос. На самом же деле это определение принадлежит самому А. И. Тургеневу и могло не соответствовать действительному замыслу Пушкина. Среди заметок же Пушкина о «Слове» мы не обнаруживаем ни одной, которая касалась собственно исторического содержания памятника. Показательна в этом отношении хотя бы такая деталь. Известно, что в конце 1836 года Пушкин получил от академика Кеппена копию исследования польского ученого Кухорского о Трояне, но в статье о «Слове» Пушкин замечает: «„Четыре раза упоминается в сей песни о Трояне... но кто сей Троян, догадаться ни по чему не возможно“, — говорят первые издатели... Прочие толкователи не последовали скромному примеру: они не хотели оставить без решения то, чего не понимали» (XII, 151); и далее Пушкин скептически упоминает о попытке отождествить Трояна

¹⁶ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.: Л., 1928, с. 278.

¹⁷ Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. СПб., 1826, ч. 7, с. 42, 53, 47.

в «Слове» с римским императором, не предлагая взамен никакого своего толкования.

Это свидетельствует о том, что Пушкин собирался написать о «Слове» как о произведении литературном, исследуя не исторические реалии, а дух времени, в нём запечатленный.

И ставя замысел Пушкина в контекст его произведений последнего времени, мы можем с достаточной уверенностью предположить, что он подготавливал произведение особого, характерного для поздней пушкинской прозы документально-публицистического жанра, подобного «Путешествию из Москвы в Петербург», «Вольтеру», «Запискам бригадира Моро-де-Бразе», «Джону Теннеру», уже упоминавшейся выше статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“», начатому в последние месяцы жизни «Описанию земли Камчатской». Все эти произведения, хотя и основаны на чужом, обильно цитируемом тексте, вовсе не сводятся к его пересказу, но представляют собою опыт очерково-исторической прозы с яркой психологической характеристикой избранных авторов, с отчетливой публицистической направленностью и личными, собственно пушкинскими размышлениями, отразившимися нередко и во многих предшествующих его произведениях. В сущности, это жанр историко-литературного эссе, или, как сейчас принято говорить, — интерпретации, — жанр, по характеру своему беллетристический, с очень сильно выраженной собственной трактовкой чужого произведения. Все вышесказанное можно пояснить на примере очерка «Джон Теннер», напечатанного в томе III журнала «Современник» за 1836 год. «В Нью-Йорке, — пишет Пушкин, — недавно изданы „Записки Джона Теннера“, проведенного тридцать лет в пустынях Северной Америки, между дикими ее обитателями. Эти „Записки“ драгоценны во всех отношениях. Они самый полный, и вероятно последний, документ бытия народа, коего не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека... Достоверность сих „Записок“ не подлежит никакому сомнению... стоит прочесть несколько страниц, чтобы в том удостовериться: отсутствие всякого искусства и смиренная простота повествования ругаются за истину» (XII, 105). В судьбе американца, мальчиком попавшего к индейцам, Пушкина несомненно поразило реальное содержание той коллизии, которая составила сюжет нескольких его произведений: «Кавказский пленник», «Цыганы», «Тазит».

Достаточно сравнить вступление к «Джону Теннеру», где открыто звучит пушкинский голос, с сохранившимся текстом введения к очерку о «Слове», чтобы убедиться в их подобии. Далее, по-видимому, так же как в «Джоне Теннере» (и других аналогичных пушкинских произведениях, упомянутых выше), должны были следовать комментированные Пушкиным пространные цитаты из памятника, отобранные в соответствии с какой-то душевной пушкинской мыслью, ей в конечном счете подчиненные.

От этой основной части очерка остались предварительные черновые заметки, охватывающие всего лишь начальную восьмую часть текста памятника. Очевидно, в этих заметках уже намечена некая центральная тема начатого очерка — тот собственно пушкинский аспект, который и должен был в данном случае определить выборочную цитацию и авторский комментарий, где должна была быть высвечена та дорогая Пушкину мысль, что и приковала его внимание к избранному им произведению другого автора.

Тема выявляется, на наш взгляд, достаточно отчетливо. Оригинальным, пушкинским, никогда до него не встречавшимся толкованием является его трактовка отношения автора «Слова» к своему великому предшественнику, «вещему Бояну».

А. С. Шишков считал, что сочинитель «Слова», «хотя и сам обилён мыслями, звучен словами, силен выражениями, однако с особливим благоговением, уничижая себя яко малого писателя перед великим, упоминает о некоем древнем певце или стихотворце Бояне».¹⁸

Пушкин пробивается к принципиально иной трактовке. В самой первой строке памятника Пушкин уже видит то противопоставление, которое до него никогда не замечали. «Все занимавшиеся толкованием Слова о полку Игореве, — пишет Пушкин, — перевели: Не прилично ли будет нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, братцы, было воспеть древним складом, старым слогом, древним языком трудную, печальную песнь о полку Игореве, Игоря Святославича? Но в древнем славянском языке частица *ли* не всегда даёт смысл вопросительный... В другом месте Слова о полку *ли* поставлено также,¹⁹ но все переводчики перевели не вопросом, а утвердительно. То же надлежало бы сделать и здесь.

Во-первых, рассмотрим смысл речи: по мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же песнь по былинам сего времени (то есть по-новому) — а не по замыслению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противоречие! — Если же признаем, что частица *ли* смысла вопросительного не даёт, то выйдет: Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна» (XII, 148).

Это не частное наблюдение Пушкина, а его принципиальное убеждение в том, что автор «Слова» вступал в соперничество с Бояном, которое, по мнению Пушкина, прорывалось в комплиментарных по виду, а на самом деле зачастую иронических по отношению к велеречивому стилю Бояна цитатах из его произведений, а также стилизациях под них. Иронию эту Пушкин готов подозревать уже в первом воспроизведении Боянова стиля: «Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекается мыслию по древу...» и пр. В этом отношении показательны пушкинское толкование старинной пословицы (1825): «Иже не ври же, его же не пригоже. Насмешка над книжным языком: видно, и в старину острились насчет славянизмов». Иронию, которая «пробивается сквозь пышную хвалу», Пушкин усматривает и во фразе: «О Бояне, соловью старого времени, а бы ты сна пълки ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облаками, сплетая хвалы во всѣ стороны сего времени...» (XII, 151).

Та же мысль содержится в пушкинском сопоставлении двух пассажей «Слова»:

„Пѣти было пѣсь Игореве, того Олга внуку“ etc. Поэт повторяет опять выражения Бояновы — и, обращаясь к Бояну, вопрошает: „или не так ли петь было, вещей Бояне, Велесов внуче?“

„Комони ржуть за Сулою; звенить слава в Къевѣ; трубы трубятъ в Новѣградѣ; стоять стязи в Путивлѣ; Игорьъ ждет мила брата Всеволода“. Теперь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени» (XII, 151—152).

Под собственным переводом первой фразы «Слова» Пушкин, между прочим, помечает: «Очень понимаем, почему А. С. Шишков не отступил от того же мнения. Ему, сочинителю Рассуждения о древнем и

¹⁸ Там же, с. 36.

¹⁹ По основательному предположению Ф. Я. Приймы, Пушкин имел здесь в виду фразу: «Не тако ли, рече, река Ступна, худу струю имея...» и пр. (Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980, с. 172).

нов.ом» «слоге», было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя *Слова о плкху Игореве* предпочитали былины своего времени старым словесам» (XII, 149).

Это замечание переводит пушкинское противопоставление Бояна и автора «Слова» в публицистический план.

В самом деле, на протяжении всей своей творческой деятельности Пушкин сам ратовал за ясный стиль точного описания и живого рассказа.

«Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу, — замечал Пушкин еще в 1821 году, — не выхваляйте мне Бюфона, [этот человек] пишет — благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь. . . Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? . . . Должно бы сказать рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. . . Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (XI, 18—19).

Эти давнишние размышления кажутся чуть ли не одновременными с заметками о «Слове»: «Это благородное животное. . .» и пр. у Бюфона и «просто лошадь» стоят сопоставления «Не буря соколы занесе. . .» и «Комони ржут за Сулою».

Приведем еще несколько аналогичных высказываний Пушкина разных лет: «Но ум не может довольствоваться одними игрушками гармонии, воображение требует картин и рассказов» (1825).

«У нас употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм» (1827) (XI, 60).

«В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. . . Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность. . .» (1828) (XI, 73).

«Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он (Ломосов, — С. Ф.) свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полу-славенская, полу-латинская, сделалась-было необходимостью: к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. . . Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности, вот следы, оставленные Ломосовым» (1833—1834) (XI, 249).

Из этих пушкинских замечаний, перечень которых можно было бы продолжить, становится очевидным, что в благородной простоте он видел качество народности, отсутствующее в велеречивом стиле. Это проясняет смысл противопоставления Бояна автору «Слова».

В вельтмановском переводе «Слова» Пушкин делает поправку в стихе: «Струны во славу князям рокотали» — «хвалу». Тот же смысл — в заметке Пушкина по поводу фразы: «Помняшет бо речь первых времен усобице»: «Ни один из толкователей не перевел сего места удовлетворительно. Дело здесь идет о Бояне; все это продолжение прежней мысли: Помяная предания о прежних бранях (усобица значит ополчение, брань, а не между-усобице, как перевели некоторые. . .)» (XII, 149—150).

Иными словами, Пушкин считает Бояна певцом славословий в честь

князей. Автор же «Слова», вероятно, для Пушкина — представитель народной поэтической культуры. В этом, по-видимому, смысл последней из заметок Пушкина, которой обрывается его статья о «Слове»: «Г. Вельтман пишет: Кметь. Значит *частный начальник, староста*. Кметь значит вообще крестьянин, мужик. Kar gospóda stori krivo, kmeti mógjo plázhat' shivo» (XII, 152) (Коль господа чинят несправедливость, крестьяне должны платиться жизнью — словенск.).

В процессе работы над «Словом о полку Игореве» Пушкин подходит к принципиально новому осмыслению этого произведения. Тогда-то он, по-видимому, и открывает «диалогичность» (как мы бы сейчас сказали) стиля «Слова». Вполне вероятно и то, что взаимоотношения (соперничество) автора «Слова» с «соловьем старого времени» Пушкин не собирался трактовать исключительно в одном ключе: в качестве иронического неприятия (ср. замечание Пушкина: «Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит, но, во всяком случае, поэт приводит сие место в пример того, каким образом слагали песни в старину» — XII, 149). Впервые в истории изучения памятника он уловил в «Слове» две стилистические системы, находящиеся в сложном единстве: «трудную (печальную) повесть» и славу (хвалу) князьям (в этом отношении вся центральная часть памятника, — «золотое слово Святослава», хотя и «смешено со слезами», но произносится как хвала князьям, т. е. «по замыслению Бояню»).

Эта оригинальная пушкинская трактовка памятника заслуживает дальнейшего критического исследования.

* * *

В нашей статье рассмотрены лишь некоторые следы взаимодействия творчества Пушкина с традициями древнерусской литературы. Видимо, дальнейшее изучение этой темы выявит немало новых фактов такого общения. Вполне очевиден, например, интерес Пушкина к летописям и другим историческим жанрам, к бытовой повести XVII века и к сатирическим произведениям, имеющим источник в древнерусской книжности. Этот интерес несомненно также оказывал влияние на творчество Пушкина.

Однако и предложенные нами наблюдения позволяют, как нам кажется, сформулировать следующий вывод: как великого национального писателя Пушкина вскормила вся почва многовековой русской культуры. В современном пушкиноведении это достаточно убедительно показано в отношении наследования им фольклорных традиций. Очевидно, столь же значительным (хотя внутренне и менее осозанным) было влияние на Пушкина и древнерусской литературы.

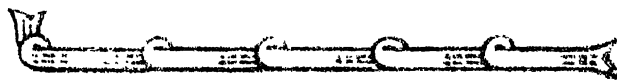


ISSN 0131—6095

Русская литература

11

1987



· НАУКА ·
Ленинградское отделение